

Габриэль
ТАРД



Общественное
мнение и толпа

PHILOSOPHY

Философия – Neoclassic

Габриэль Тард

Общественное мнение и толпа

«Издательство АСТ»

1892

УДК 316.6
ББК 60.5

Тард Г.

Общественное мнение и толпа / Г. Тард — «Издательство АСТ»,
1892 — (Философия – Neoclassic)

ISBN 978-5-17-134422-1

Жан-Габриэль Тард (1843–1904) – видный французский криминолог, психолог и философ, член Академии нравственных и политических наук, но прежде всего – один из ученых, стоявших у истоков создания научной социологии, разработавший свою уникальную «субъективно-психологическую» теорию еще в 1870-е гг. и истративший на ее развитие и шлифовку целых 20 лет. Его вклад в социологию трудно переоценить – так, Тард считается создателем двух направлений современной социологии: теории массовой культуры и анализа общественного мнения. «Общественное мнение и толпа» – книга, впервые опубликованная Тардом еще в 1892 г., но не утратившая актуальности и в наши дни, одно из основополагающих произведений теории массовой коммуникации. В ней ученый рассуждает на тему «публики» как высшей формы толпы – косной и легковерной массы, недолговечной и зависимой от своего вождя. Публика тоже зависима, однако уже от средств массовой информации, последовательно формирующих ее мнение, объединена общностью суждений (внутренних ей извне, при помощи все тех же средств массовой информации) и склонна к новизне. Она более замкнута социально, нежели толпа, более терпима к чужому мнению. Однако достаточно грамотно проманипулировать ее мнением, чтобы публика вновь обратилась в разрушительную толпу... В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 316.6
ББК 60.5

ISBN 978-5-17-134422-1

© Тард Г., 1892

© Издательство АСТ, 1892

Содержание

Предисловие	7
Публика и толпа	8
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Габриэль Тард
Общественное мнение и толпа

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Предисловие

Выражению *коллективная психология*, или *социальная психология*, часто придают фантастический смысл, от которого прежде всего необходимо освободиться. Он заключается в том, что мы представляем себе *коллективный ум*, *коллективное сознание* как особое *мы*, которое будто бы существует вне или выше индивидуальных умов. Нет надобности в такой точке зрения, в таком мистическом понимании, для того чтобы совершенно отчетливо провести грань между обыкновенной психологией и психологией социальной, которую мы скорее назвали бы интерспиритуальной. В самом деле, первая касается отношений ума ко всей совокупности других внешних предметов, вторая изучает или должна изучать взаимные отношения умов, их влияния, односторонние или взаимные, – односторонние сначала, взаимные потом. Между первой и второй существует, таким образом, то различие, которое существует между родом и видом. Но вид в этом случае имеет характер столь важный и столь исключительный, что его необходимо выделить из рода и трактовать при помощи методов, специально ему свойственных.

Отдельные этюды, которые найдет здесь читатель, представляют собой фрагменты этой обширной области коллективной психологии. Их соединяет тесная связь. Пришлось перепечатать здесь, с целью определить его настоящее место, этюд о *толпах*, составляющий последнюю часть этой книги. В самом деле, *публика*, которая составляет специальный главный предмет настоящего исследования, есть не что иное, как рассеянная толпа, в которой влияние умов друг на друга стало действием на расстоянии, на расстояниях, все возрастающих. Наконец, *мнение*, являющееся результатом всех этих действий на расстоянии или при личном соприкосновении, составляет для толпы и публики нечто вроде того, что мысль составляет для тела. И если среди этих действий, в результате которых появляется мнение, мы станем искать самое общее и постоянное, то без труда убедимся, что таковым является *разговор*, элементарное, социальное отношение, совершенно забытое социологами.

Полная история разговора у всех народов во все времена была бы в высшей степени интересным документом социального знания; и если бы все трудности, которые представляет этот вопрос, удалось победить с помощью коллективной работы многочисленных ученых, то нет сомнения, что из сопоставления фактов, полученных по этому вопросу у самых различных между собою народов, выделился бы большой запас общих идей, которые позволили бы сделать из *сравнительного разговора* настоящую науку, немного уступающую сравнительной религии, сравнительному искусству и даже сравнительной промышленности, иначе говоря – политической экономии.

Но само собой разумеется, что я не мог претендовать на то, чтобы набросать план подобной науки на нескольких страницах. За отсутствием сведений, достаточных хотя бы для самого эскизного наброска, я мог указать только ее будущее место, и я был бы счастлив, если бы, высказав сожаление об ее отсутствии, я возбудил в каком-нибудь молодом исследователе стремление заполнить этот важный пробел.

Май, 1901

Г. Тард

Публика и толпа

I

Толпа не только привлекает и неотразимо зовет к себе того, кто видит ее; самое ее имя заключает в себе что-то заманчивое и обаятельное для современного читателя, и некоторые писатели склонны обозначать этим неопределенным словом всевозможные группировки людей. Следует устранить эту неясность и особенно не смешивать с толпой *публику*, слово, которое опять-таки можно понимать различно, но которое я постараюсь точно определить. Говорят: публика какого-нибудь театра; публика какого-либо собрания; здесь слово *публика* обозначает толпу. Но этот смысл упомянутого слова не единственный и не главный, и в то время как он постепенно утрачивает свое значение или же остается неизменным, новая эпоха с изобретением книгопечатания создала совершенно особый род публики, которая все растет и бесконечное распространение которой является одной из характернейших черт нашего времени. Психология толпы уже выяснена; остается выяснить психологию публики, взятой в этом особом смысле слова, т. е. как чисто духовной совокупности, как группы индивидуумов, физически разделенных и соединенных чисто умственной связью. Откуда происходит публика, как она зарождается, как развивается, ее изменения, ее отношение к своим главарям, ее отношение к толпе, к корпорациям, к государствам, ее могущество в хорошем или в дурном и ее способ чувствовать или действовать – вот что будет служить предметом исследования в настоящем этюде.

В самых низших животных обществах ассоциация состоит по преимуществу в материальном соединении. По мере того как мы поднимаемся вверх по дереву жизни, социальные отношения становятся более духовными. Но если отдельные индивидуумы удаляются друг от друга настолько, что не могут уже более встретиться, или же остаются в таком отдалении друг от друга дольше известного, весьма краткого промежутка времени, они перестают составлять ассоциацию. Таким образом, толпа в этом смысле представляет собою до некоторой степени явление из царства животных. Не является ли она рядом психических воздействий, в сущности, проистекающих из физических столкновений? Но не всякое общение одного ума с другим, одной души с другой обусловлено необходимой близостью тела.

Это условие совсем отсутствует, когда обозначаются в наших цивилизованных обществах так называемые *общественные течения*. Не на сходках, которые происходят на улицах или площадях, рождаются и разливаются эти социальные реки¹, эти огромные потоки, которые приступом захватывают теперь самые стойкие сердца, самые способные к сопротивлению умы и заставляют парламенты и правительства приносить им в жертву законы и декреты. И странно, те люди, которые увлекаются таким образом, которые взаимно возбуждают друг друга или же скорей передают один другому внушение, идущее сверху, эти люди не соприкасаются между собой, не видятся и не слышат друг друга; они рассеяны по обширной территории, сидят у себя по домам, читая одну и ту же газету. Какая же связь существует между ними? Эта связь состоит в одновременности их убеждения или увлечения, в сознании, проникающем каждого, что эта идея или это желание разделяется в данный момент огромным количеством других людей. Достаточно человеку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет вся их

¹ Заметим, что эти *гидравлические* сравнения естественно напрашиваются всякий раз, когда заходит речь как о толпе, так и о публике. В этом заключается их сходство. Толпа, движущаяся вечером во время публичного празднества, медленностью своего течения и многочисленностью водоворотов напоминает реку, текущую без определенного русла, так как меньше всего можно сравнить с организмом толпу, если не считать публики. Это потоки воды, жизнь которых не определена в точности.

совокупная масса, а не только один журналист, общий вдохновитель, сам невидимый и неведомый и тем более неотразимый.

Читатель вообще не сознает, что подвергается настойчивому, почти неотразимому влиянию той газеты, которую он обыкновенно читает. Журналист же скорее сознает свою угодливость по отношению к публике, никогда не забывая ее природы и вкусов. У читателя далее еще меньше сознания: он абсолютно не догадывается о том влиянии, какое оказывает на него масса других читателей. Но оно тем не менее неоспоримо. Оно отражается на степени его интереса, который становится живее, если читатель знает или думает, что этот интерес разделяет более многочисленная или более избранная публика; оно отражается и на его суждении, которое стремится приспособиться к суждениям большинства или же избранных, смотря по обстоятельствам. Я разворачиваю газету, которую я считаю сегодняшней, и с жадностью читаю в ней разные новости; потом вдруг я замечаю, что она помечена числом от прошлого месяца или вчерашним, и она тотчас же перестает меня интересовать. Откуда происходит это внезапное охлаждение? Разве факты, сообщенные там, стали менее интересны по существу? Нет, но у нас является мысль, что мы одни читаем их, и этого достаточно. Это доказывает, что живость нашего интереса поддерживалась бессознательной иллюзией общности нашего чувства с чувствами массы других людей. Номер газеты, вышедший накануне или два дня тому назад, по сравнению с сегодняшним есть то же, что речь, прочитанная у себя дома, по сравнению с речью, прослушанной среди многочисленной толпы.

Когда мы бессознательно подвергаемся этому невидимому влиянию со стороны публики, часть которой мы сами составляем, мы склонны объяснять это просто обаянием *злободневности*. Если нас интересует самый последний номер газеты, это происходит будто бы оттого, что он сообщает нам злободневные факты и будто бы при чтении нас увлекает сама их близость к нам, а отнюдь не то, что их одновременно с нами узнают и другие. Но проанализируем хорошенько это столь странное *впечатление злободневности*, возрастающая сила которого является одной из наиболее характерных черт цивилизованной жизни. Разве злободневным считается исключительно то, что только что случилось? Нет, злободневным является все, что в данный момент возбуждает всеобщий интерес, хотя бы это был давно прошедший факт. В последние годы было *злободневно* все, что касается Наполеона; *злободневно* все то, что в моде. И *незлободневно* все то, что вполне ново, но не останавливает на себе внимания публики, занятой чем-либо другим. Во все время, пока тянулось дело Дрейфуса, в Африке или в Азии происходили события, весьма способные возбудить наш интерес, но в них не находили ничего злободневного, словом, страсть к злободневности растет вместе с общественностью и она есть не что иное, как одно из самых поразительных ее проявлений; а так как периодическая, в особенности же ежедневная пресса по самому свойству своему говорит о самых злободневных предметах, то не следует удивляться при виде того, как между обычными читателями одной и той же газеты завязывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком мало замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных.

Разумеется, чтобы для индивидуумов, составляющих одну и ту же публику, это *внушение на расстоянии* сделалось возможным, нужно, чтобы они привыкали, под влиянием интенсивной общественной жизни, жизни городской, к внушению на близком расстоянии. Мы в детстве, в юношеском возрасте начинаем с того, что чувствуем *влияние взгляда других*, которое бессознательно выражается у нас в наших позах, в жестах, в изменении хода наших идей, в беспорядочности или чрезмерной возбужденности наших речей, в наших суждениях, в наших поступках. И только после того как мы целыми годами подвергались и подвергали других этому внушающему действию взгляда, мы становимся способны к внушению даже посредством *мысли о взгляде другого*, посредством идеи, что мы составляем предмет внимания для личностей, удаленных от нас. Равным образом, лишь после того, как мы долгое время испытывали на себе и практиковали сами могущественное влияние догматического и авторитетного

голоса, слышанного вблизи, нам достаточно прочесть какое-нибудь энергическое утверждение для того, чтобы подчиниться ему, и просто самое сознание солидарности большого числа подобных нам с этим суждением располагает нас судить в одинаковом с ним смысле. Следовательно, образование публики предполагает духовную и общественную эволюцию, значительно более подвинувшуюся вперед, нежели образование толпы. То чисто идеальное внушение, то заражение без соприкосновения, которые предполагает эта чисто абстрактная и тем не менее столь реальная группировка, эта одухотворенная толпа, поднятая, так сказать, на вторую степень сила, не могли зародиться ранее как по прошествии целого ряда веков социальной жизни более грубой, более элементарной.

II

Ни в латинском, ни в греческом языках нет слова, соответствующего тому, что мы разумеем под словом *публика*. Есть слова, обозначающие народ, собрание граждан вооруженных или невооруженных, избирательный корпус, все разновидности толпы. Но какому писателю древности могло прийти на ум говорить о своей публике? Все они не знали ничего, кроме *своей аудитории* в залах, нанимаемых для публичных чтений, где поэты, современники Плиния Младшего, собирали немногочисленную сочувственную толпу. Что же касается тех немногочисленных читателей манускриптов, переписанных в нескольких десятках экземпляров, то они не могли сознавать, что составляют общественный агрегат, который составляют теперь читатели одной и той же газеты и даже иногда одного и того же модного романа. Была ли публика в Средние века? Нет, но в эти времена были ярмарки, паломничества, беспорядочные скопища, охваченные благочестивыми или воинственными чувствами, гневом или паникой. Возникновение публики стало возможным не раньше начала широкого распространения книгопечатания в XVI в. Передача силы на расстоянии – ничто по сравнению с передачей мысли на расстоянии. Не есть ли мысль – социальная сила по преимуществу? Вспомните *idées-forces* Фулье. Когда Библия была в первый раз издана в миллионах экземпляров, то обнаружилось в высшей степени новое и богатое неисчислимыми последствиями явление, а именно благодаря ежедневному и одновременному чтению одной и той же книги, т. е. Библии, соединенная масса ее читателей почувствовала, что составляет новое социальное тело, отделенное от церкви. Но эта нарождающаяся публика сама еще была только отдельной церковью, с которой она смешивалась; слабость протестантизма и заключается в том, что он был одновременно публикой и церковью, двумя агрегатами, управляемыми различными принципами и по самому существу своему непримиримыми. Публика как таковая выделилась более ясно только при Людовике XIV. Но и в эту эпоху если и были толпы, не менее стремительные, нежели теперь, и не менее значительные, при коронациях монархов, на больших празднествах, при бунтах, возникших вследствие периодических голодовок, то публика составлялась из незначительного количества избранных *honnetes gens*, которые читали свой ежемесячный журнал, в особенности же книги, небольшое количество книг, написанных для небольшого количества читателей. И кроме того, эти читатели были по большей части сгруппированы если не при дворе, то вообще в Париже.

В XVIII в. эта публика быстро растет и раздробляется. Я не думаю, чтобы до Бейля существовала философская публика, которая отличалась бы от большой литературной публики или начала от нее отделяться; я не могу назвать публикой группу ученых, хотя они и были объединены, несмотря на свою разбросанность по различным провинциям и государствам, однородными изысканиями и чтением одних сочинений; эта группа была так малочисленна, что они все поддерживали между собой письменные сношения и черпали в этих личных сношениях главную пищу для своего научного общения. Публика в специальном смысле начинает обрисовываться с того трудно поддающегося точному определению момента, когда люди, предан-

ные одной и той же науке, стали слишком многочисленны для того, чтобы лично сноситься друг с другом, и могли почувствовать завязывающиеся между ними узы солидарности только при помощи достаточно частых и регулярных сношений, не имеющих личного характера. Во второй половине XVIII в. зарождается политическая публика, растет и вскоре, разлившись, поглощает, как река свои притоки, все другие виды публики – литературную, философскую, научную. Однако до революции жизнь публики была малоинтенсивна сама по себе и получает значение только благодаря жизни толпы, с которой она еще связана вследствие необыкновенного оживления салонов и кафе.

Революция может считаться датой настоящего водворения журнализма и, следовательно, публики; революция – момент лихорадочного роста публики. Это не значит, что революция не возбуждала толпы, но в этом отношении она ничем не отличалась от прежних междоусобных войн в XIV, в XVI в., даже в эпоху Фронды. Толпы фрондеров, толпы приверженцев Лиги, толпы приверженцев Кабоша были не менее страшны и, может быть, не менее многочисленны, чем толпы 14 июля и 10 августа; толпа не может возрасти свыше известного предела, положенного свойствами слуха и зрения, не раздробившись тотчас же и не утратив способности к совместному действию; впрочем, действия эти всегда одинаковы; это – сооружение баррикад, разграбление дворцов, убийства, разрушение, пожары. Нет ничего более однообразного, как эти повторяющиеся в течение веков проявления ее деятельности. Но 1789 г. характеризуется явлением, которого не знали предыдущие эпохи, а именно огромным распространением газет, пожираемых с жадностью. Если некоторые из них и были мертворожденными, то зато другие представляют собою картину беспримерного распространения. Каждый из этих великих и ненавистных публицистов² – Марат, Демулэн, отец Дюшен – имел *свою* публику; и эти толпы грабителей, поджигателей, убийц, людоедов, опустошавших тогда Францию с севера до юга, с востока до запада, можно считать злокачественными наростами и сыпями тех групп публики, которым их злокозненные виночерпии, препровождаемые с триумфом в Пантеон после смерти, подливали ежедневно губительный алкоголь пустых и яростных слов. Это не значит, что бунтующие толпы состояли даже в Париже, а тем более в провинциях и в деревнях, исключительно из читателей газет; но последние составляли в них если не тесто, то, по крайней мере, закваску. Точно так же клубы, собрания в кафе, сыгравшие такую важную роль во время революционного периода, родились от публики, между тем как до революции публика была скорее следствием, нежели причиной собраний в кафе и в салонах.

Но революционная публика была по преимуществу парижской публикой, вне Парижа она обозначалась неярко. Артур Юнг во время своего знаменитого путешествия был поражен тем обстоятельством, что газеты так мало распространены даже в городах. Правда, это замечание относится к началу революции, немного позднее оно уже потеряло бы долю верности. Но до самого конца отсутствие быстрых сообщений ставило непреодолимое препятствие интенсивности и широкому распространению общественной жизни. Как могли газеты, приходящие только два-три раза в неделю и притом неделю спустя после своего появления в Париже, дать своим читателям на юге то впечатление злободневности и то сознание одновременной духовной общности, без которых чтение газеты не разнится по существу от чтения книги? На долю нашего века, благодаря усовершенствованным способам передвижения и моментальной передаче мысли на всякое расстояние, выпала задача – придать публике, всякого рода публике, беспредельное распространение, к которому она так способна и которое создает между ней и толпой столь резкий контраст. Толпа – это социальная группа прошлого; после семи она самая старинная из всех социальных групп. Она во всех своих видах – стоит ли или сидит,

² «Слово *публицист*, – говорит Литтре, – появляется в Академическом Словаре только начиная с 1762 г.» и фигурирует там, по его словам, – как еще и теперь в большинстве словарей – только в значении автора, пишущего о государственном праве. Смысл этого слова при ходячем употреблении расширился только в течение нашего столетия, в то время как значение слова *публика* в силу той же причины все сужалось, по крайней мере в том смысле, в каком я его употребляю.

неподвижна или движется – не способна расширяться дальше известного предела; когда ее вожаки перестают держать ее *in manu*, когда она перестает слышать их голос, она распадается. Самая обширная из всех известных аудиторий – это аудитория Колизея; но и она вмещала в себя только сто тысяч человек. Аудитории Перикла или Цицерона, даже аудитории великих проповедников Средних веков, вроде Петра Пустынника или св. Бернарда, были, без сомнения, значительно меньше. Также не замечается, чтобы могущество красноречия, будь то политическое или религиозное, значительно подвинулось вперед в древности или в Средние века. Но публика бесконечно растяжима, и так как по мере ее растяжения ее социальная жизнь становится более интенсивной, то нельзя отрицать, что она станет социальной группой будущего. Таким образом, благодаря соединению трех взаимно поддерживающих друг друга изобретений – книгопечатания, железных дорог и телеграфа – приобрела свое страшное могущество пресса, этот чудесный телефон, который так безмерно расширил древнюю аудиторию трибунов и проповедников. Итак, я не могу согласиться с смелым писателем, д-ром Лебоном, заявляющим, что наш век – это *эра толпы*. Наш век – это эра публики или публик, что далеко не похоже на его утверждение.

III

До известной степени публика сходна с тем, что называется *миром* – *литературный мир*, *политический мир*, и т. д.; разница лишь в том, что это последнее понятие предполагает личные сношения между лицами, принадлежащими к одному и тому же миру, как-то: обмены визитами, приемы, что может и не существовать между членами одной и той же публики. Но между толпой и публикой расстояние огромно, как мы уже видели, хотя публика частью и ведет свое начало от известного рода толпы, а именно от аудитории ораторов.

Между толпой и публикой существует много и других различий, которые я еще не выяснил. Можно принадлежать в одно и то же время, как это обыкновенно и бывает, к нескольким группам публики, как можно принадлежать к нескольким корпорациям или сектам; но к толпе одновременно можно принадлежать только к одной. Отсюда гораздо большая нетерпимость толпы, а следовательно, и тех наций, где царит дух толпы, потому что там человек захватывается целиком, неотразимо увлечен силой, не имеющей противовеса. И отсюда преимущество, связанное с постепенной заменой толпы публикой, превращение, сопровождающееся всегда прогрессом в терпимости или даже в скептицизме. Правда, сильно возбужденная публика может породить, как это иногда и случается, фанатические толпы, которые расхаживают по улицам с криками: *да здравствует* или *смерть* чему-либо. И в этом смысле публика могла бы быть определена как толпа в возможности. Но это падение публики до толпы, в высшей степени опасное, вообще случается довольно редко; и, не входя в обсуждение того, не будут ли, невзирая ни на что, эти порожденные публикой толпы менее грубы, чем толпы, образовавшиеся вне всякой публики, остается очевидным, что столкновение двух публик, всегда готовых слиться на своих неопределенных границах, представляет собой гораздо меньшую опасность для общественного спокойствия, нежели встреча двух враждебных толп.

Толпа как группа более естественная более подчиняется силам природы; она зависит от дождя или от хорошей погоды, от жары или от холода; она образовывается чаще летом, нежели зимой. Луч солнца собирает ее, проливной дождь рассеивает ее. Когда Бальи был парижским мэром, он благословлял дождливые дни и огорчился при виде проясняющегося неба. Но публика как группа высшего разряда не подвластна этим изменениям и капризам физической среды, времени года или даже климата. Не только зарождение и развитие публики, но даже крайнее возбуждение ее, эта болезнь, появившаяся в нашем веке и растущая все сильнее, не подвержены этим влияниям.

Наиболее острый кризис этого рода болезни, по нашему мнению, а именно дело Дрейфуса, свирепствовал во всей Европе в самый разгар зимы. Возбудило ли оно больше страстности на юге, нежели на севере, как случилось бы, если бы речь шла о толпе? Нет! Скорее оно наиболее волновало умы в Бельгии, в Пруссии, в России. Наконец, отпечаток расы гораздо менее отражается на публике, чем на толпе. И это не может быть иначе в силу следующего соображения.

Почему английский митинг так глубоко разнится от французского клуба, сентябрьская резня от африканских судилищ по закону Линча, итальянский праздник от коронации русского царя? Почему хороший наблюдатель по национальности толпы может почти с уверенностью предсказать, как она будет действовать, – с гораздо большей уверенностью, чем предсказать, как поступит каждый из индивидуумов, составляющих ее, – и почему, несмотря на огромные изменения, происшедшие в нравах и идеях Франции или Англии за последние три-четыре столетия, французские толпы нашего времени, буланжистские или антисемитические, похожи в стольких чертах на толпы приверженцев Лиги или Фронды, а нынешние толпы англичан – на толпы времен Кромвеля? Потому что в образовании толпы индивидуумы участвуют только своими сходными национальными чертами, которые слагаются и образуют одно целое, но не своими индивидуальными отличиями, которые нейтрализуются; при составлении толпы углы индивидуальности взаимно сглаживаются в пользу национального типа, который прорывается наружу. И это происходит вопреки индивидуальному влиянию вождя или вождей, которое всегда дает себя чувствовать, но всегда находит противовес во взаимодействии тех, кого они ведут.

Что же касается того влияния, какое оказывает на свою публику публицист, то оно если и является гораздо менее интенсивным в данный момент, зато по своей продолжительности оно более сильно, чем кратковременный и преходящий толчок, данный толпе ее предводителем. Мало того, влияние, которое оказывают члены одной и той же публики друг на друга, гораздо менее сильно и никогда не противодействует, а, напротив, всегда содействует публицисту вследствие того, что читатели сознают одновременную тождественность своих идей, склонностей, убеждений или страстей, ежедневно раздуваемых одним и тем же мехом.

Можно – быть может, несправедливо, но с известным правдоподобием и видимым основанием – оспаривать ту мысль, что всякая толпа имеет вождя; и действительно, часто она сама ведет его. Но кто станет оспаривать, что всякая публика имеет своего вдохновителя, а иногда и создателя? Слова Сент Бёва, что «гений есть царь, создающий свой народ», особенно применимы к великому журналисту. Сколько публицистов создают себе публику!³ Правда, для того чтобы возбудить антисемитическое движение, было необходимо, чтобы агитаторские усилия Эдуарда Дрюмона соответствовали известному умственному состоянию среди населения; но пока не раздался один громкий голос, давший общее выражение этому состоянию умов, оно оставалось чисто индивидуальным, мало интенсивным, еще в меньшей степени заразительным и не сознавало само себя. Тот, кто выразил его, создал как бы коллективную силу, быть может, искусственную, но тем не менее реальную. Я знаю французские области, где никто никогда не видал ни одного еврея, что не мешает антисемитизму процветать там, потому что там читаются антисемитические газеты. Точно так же социалистическое или анархическое направление умов ничего не представляло собою, прежде чем его не выразили некоторые знаменитые публицисты, Карл Маркс, Кропоткин и др., и не пустили в обращение, дав ему свое имя. После этого легко понять, что на публике гораздо ярче отражается индивидуальный отпечаток ее создателя, нежели дух национальности, и что обратное справедливо относительно толпы. Точно так же нетрудно понять, что публика одной и той же страны в каждом из своих главных разветвлений

³ Мне скажут, что если всякий великий публицист создает свою публику, то всякая сколько-нибудь значительная публика создает себе своего публициста. Это последнее предположение гораздо менее верно, чем первое: мы знаем очень обширные группы, которые в продолжение многих лет не могли выделить из своей среды писателя, способного помочь им ориентироваться. В таком положении находится в настоящее время католический мир.

преобразовывается в очень короткий промежуток времени, если сменяются ее предводители, и что, например, современная социалистическая публика во Франции ни в чем не походит на социалистическую публику времен Прудона, в то время как французские толпы всякого рода сохраняют сходную физиономию в продолжение целых столетий.

Может быть, возразят, что читатель какой-нибудь газеты располагает гораздо больше своей умственной свободой, нежели индивидуум, затерянный в толпе и увлекаемый ею. Он может в тишине обдумать то, что он читает, и, несмотря на его привычную пассивность, ему случается переменять газету до тех пор, пока он не найдет подходящую или такую, которую он считает для себя подходящей. С другой стороны, журналист старается ему понравиться и удержать его. Статистика увеличения и уменьшения подписки является великолепным термометром, с которым часто справляются и который предупреждает редактора относительно того, каких действий и мыслей следует держаться. Такого характера указание обусловило в одном известном деле внезапный поворот одной большой газеты, и такое отречение не представляет собою исключения. Итак, публика реагирует временами на журналиста, но этот последний действует на свою публику постоянно. После некоторых колебаний читатель выбрал себе газету, газета собрала себе читателей, произошел взаимный подбор, отсюда – взаимное приспособление. Один наложил свою руку по своему вкусу на газету, которая угождает его пред-рассудкам и страстям, другая – на своего читателя, послушного и доверчивого, которым она легко может управлять при помощи некоторых уступок его вкусам – уступок, аналогичных ораторским предосторожностям древних ораторов. Говорят, что нужно бояться человека одной книги; но что значит он в сравнении с человеком одной газеты! А этот человек – в сущности, каждый или почти каждый из нас. Вот где опасность нового времени. Итак, не препятствуя публицисту иметь на свою публику в конце концов решительное влияние, этот двойной подбор, двойное приспособление, делающее из публики однородную группу, легко управляемую и хорошо известную писателю, позволяет последнему действовать с большей силой и уверенностью. Толпа вообще гораздо менее однородна, нежели публика: она всегда увеличивается благодаря массе любопытных, полусообщников, которые немедленно увлекаются и ассимилируются, но тем не менее затрудняют общее руководство разнородными элементами.

IV

Можно оспаривать эту относительную однородность под тем предлогом, что *мы никогда не читаем одной и той же книги*, точно так же как *никогда не купаемся в одной реке*. Но, помимо спорного характера этого древнего парадокса, верно ли, что мы никогда не читаем одной газеты? Могут подумать, что так как газета более разнообразна, нежели книга, то вышеприведенное изречение к ней применимо еще в большей степени, чем к книге. А между тем в действительности каждая газета имеет свой гвоздь, и этот гвоздь, выделяясь все с большей и большей рельефностью, привлекает внимание всей массы читателей, загнипнотизированных этой светящейся точкой. Действительно, несмотря на пестроту статей, каждый листок имеет свою видимую окраску, присущую ему, свою специальность, будь то порнографическая, диффаматорская, политическая или какая-либо другая, которой все остальное приносится в жертву и на которую публика такого листка набрасывается с жадностью. Ловя публику на эту приманку, журналист по своему усмотрению ведет ее куда ему угодно.

Еще одно соображение. Публика в конце концов есть известный род коммерческой *клиентуры*, но род весьма своеобразный, стремящийся затмить всякий другой вид клиентуры. Уже одно то, что люди известного круга покупают продукты в магазинах одного разряда, одеваются у одной и той же модистки или портного, посещают один и тот же ресторан, – устанавливает между ними известную социальную связь и предполагает между ними сродство, которое укрепляется и подчеркивается этой связью. Каждый из нас, покупая то, что соответствует

его потребностям, имеет более или менее смутное сознание, что этим самым он выражает и изъясняет свое единство с тем социальным классом, который питается, одевается, удовлетворяет себя во всем почти аналогичным образом. Экономический факт, один замеченный экономистами, усложняется, таким образом, симпатическим отношением, которое заслуживало бы также их внимания. Они смотрят на покупателей одного продукта или одной работы только как на соперников, которые оспаривают друг у друга предмет своего желания; но эти покупатели являются в то же время людьми однородными, схожими между собой людьми, которые стремятся укрепить свое единство и выделиться из того, что не похоже на них самих. Их желание питается желанием других, и даже в их соревновании есть скрытая симпатия, заключающая в себе потребность роста. Но насколько глубже и интимнее та связь, которая возникает между читателями благодаря обычному чтению одной и той же газеты! Здесь никому не придет в голову говорить о конкуренции, здесь есть только общность внушенных идей и сознание этой общности – но не сознание этого внушения, которое, несмотря на то, остается очевидным.

Точно так же, как у всякого поставщика есть два вида клиентов: покупатели постоянные и покупатели случайные, у газет и журналов есть два сорта публики: публика постоянная, прочная, и публика случайная, непостоянная. Пропорция этих двух родов публики весьма неодинакова для различных листков; у старинных листков, органов старых партий не числится, или числится очень мало, публики второй категории, и я согласен, что здесь влияние публициста особенно затруднено вследствие нетерпимости той сферы, куда он попал и откуда будет изгнан при обнаружении малейшего разногласия. Но зато это влияние, раз оно достигнуто, становится продолжительным и глубоким. Заметим, впрочем, что публика постоянная и привязанная по традиции к одной газете близка к исчезновению, она все более и более заменяется непостоянной публикой, на которую влияние талантливого журналиста если и не так прочно, зато гораздо легче достижимо. Мы можем с полным правом пожалеть о такой эволюции журнализма, потому что постоянная публика создает честных и убежденных публицистов, тогда как изменчивая публика создает публицистов легкомысленных, изменчивых и беспокойных; но, по-видимому, эта эволюция теперь неизбежна, почти бесповоротна, и мы видим все увеличивающиеся перспективы социального могущества, которые она открывает перед людьми пера. Может быть, она будет все более и более подчинять посредственных публицистов капризам их публики, но она навверное подчиняет все более и более деспотизму великих публицистов их порабощенную публику. Эти последние в гораздо большей степени, чем государственные люди, даже самые высшие, творят мнение и руководят миром. И когда они утвердятся, – как прочен их трон! Сравните столь быстрое изнашивание политических деятелей, даже самых популярных, с тем продолжительным и неразрушимым царствованием журналистов высокой пробы, которое напоминает долговечность какого-нибудь Людовика XIV или вечный успех знаменитых комиков и трагиков. Для этих самодержавных властителей нет старости.

Вот почему так трудно создать определенный закон для прессы. Это все равно что мы захотели бы регламентировать суверенитет великого короля или Наполеона. Проступки, даже преступления прессы почти ненаказуемы, как были ненаказуемы проступки, совершенные на трибуне в древности и проступки на кафедре в Средние века.

Если бы были правы поклонники толпы, постоянно повторяющие, что историческая роль отдельных индивидуальностей обречена на то, чтобы уменьшаться все более и более по мере того, как совершается демократическая эволюция общества, то следовало бы особенно удивляться увеличивающемуся день ото дня значению публицистов. Нельзя, однако, отрицать, что они в критических случаях творят общественное мнение, и если двое или трое из этих великих вождей политических или литературных групп захотят соединиться во имя одной цели, то как бы дурна она ни была, можно с уверенностью предсказать ей торжество. Замечательно то, что последняя из образовавшихся социальных группировок, группировка, наиболее широко развивающаяся в ходе нашей демократической цивилизации, т. е. социальная группировка по

разным видам публики, дает выдающимся индивидуальным характерам наибольшую возможность проявить себя, а оригинальным индивидуальным мнениям – наибольший простор для распространения.

V

Итак, достаточно открыть глаза, чтобы заметить, что разделение общества на разного рода публику, разделение чисто психологического характера, соответствующее различного рода состоянию умов, стремится хотя не заменить, конечно, но заслонить собою все с большей и большей очевидностью религиозное, экономическое, эстетическое экономическое и политическое подразделение общества на корпорации, секты, ремесла, школы и партии. Это не только разновидности прежней толпы, аудиторий трибунов и проповедников, в которых господствует или которые увеличивает соответствующая публика, парламентская или религиозная; нет такой секты, которая не желала бы иметь свою собственную газету для того, чтобы окружить себя публикой, рассеянной далеко вне ее, создать нечто вроде атмосферической оболочки, в которую публика была бы погружена, нечто вроде коллективного сознания, которое озаряло бы ее. И, конечно, это сознание нельзя назвать просто *эпифеноменом*, который сам по себе недействителен и бездеятелен. Точно так же нет профессии, большой или незначительной, которая не желала бы иметь свою газету или свой журнал, как в Средние века каждая корпорация имела своего священника, своего обычного проповедника, как в Древней Греции каждый класс имел своего доверенного оратора. Разве первая забота каждой вновь основывающейся школы литературной или художественной не заключается в том, чтобы завести свою собственную газету, и разве она будет считать полным свое существование без этого условия? Существует ли такая партия или часть партии, которая не поспешила бы шумно заявить себя в каком-нибудь периодическом, ежедневном издании, при помощи которого она надеется распространиться, при помощи которого она, без сомнения, укрепляется, пока она не преобразуется, не сольется или не раздробится? Партия без газеты не производит ли на нас впечатления безглавого чудовища, хотя для всех партий древности, Средних веков, даже современной Европы до французской революции эта воображаемая чудовищность была естественна?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.